

ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН И ЕГО СУДЬБА

Доклад, прочитанный во Фрайбургском
академическом обществе 29 ноября 1878 г.

В моем выступлении я хочу вызвать в вашей памяти воспоминание о жизни немецкого поэта, тесно связанной с великой эпохой нашей литературы и отразившей в своеобразной форме ее духовное содержание, о жизни, которая зародилась в утреннем сиянии классической красоты и завершилась в ночи безумия. Без сомнения, трагическая судьба Фридриха Гёльдерлина сохранилась в народной памяти больше, чем благородный дух его поэзии. Причина этого не только в патологическом интересе, который естественно возникает, когда высокое гениальное дарование теряется в безнадежном безумии; она заключается и в том, что направление музыки Гёльдерлина сильно отклоняется от пути, по которому движется то, что мы называем современным вкусом. Поэтому тщетным было бы пытаться внушить вам в этих немногих словах любовь к поэту, столь чуждому литературной жизни нашего времени, в которую мы все в большей или меньшей степени погружены. У большинства из вас я могу рассчитывать только на исторический интерес к его поэзии, на то, что мне удастся показать, в какой степени она является односторонне совершенным выражением существенной и необходимой составной части в истории немецкой духовной культуры. Что же касается его трагической судьбы, то я надеюсь возбудить к ней более общее и глубокое участие. Чем больше я углубляюсь во внутреннее содержание его жизни, тем яснее мне становится, что противоречие, которое послужило причиной его гибели, непосредственно связано с одной из труднейших проблем современной культуры вообще и что его безумие — характерный симптом той социальной болезни, которая развилась в своеобразных условиях современной духовной жизни и становится все более опасной и угрожающей. Фридрих Гёльдерлин — представитель того поколения швабского племени, которое оставило неизгладимые следы в блестящем развитии немецкого духа в конце XVIII в. Гёльдерлин на одиннадцать лет моложе Шиллера, на пять лет старше Шеллинга и ровесник Гегеля, и именно с этими тремя гениями он с юных лет был тесно связан духовно. На начальную его поэтическую деятельность наложили несомненный отпечаток юношеские произведения Шиллера, и даже впоследствии он писал почитаемому им поэту, служившему ему образцом, о своей «непреодолимой зависимости» от него. С обоими названными философами он был настолько связан годами обучения и юношеской дружбой, общение их было настолько тесным и живым, что в ряде случаев вызывает сомнение, чем он обязан им и что он дал им. Он жил теми же идеалами, решал те же проблемы, что и они, но если им было суждено подняться на вершину ясности и славы, то Гёльдерлина тяжелые свойства его натуры привели к грустному концу.

Гёльдерлин родился 20 марта 1770 г. в Лауффене на Неккаре, недалеко от Гейльбронна, рано лишился отца и воспитывался, подавая большие надежды, благочестивой и тонко чувствующей матерью. И еще одна мать, прекрасная природа его родины, влияла на него, и в юношеской душе неизгладимо запечатлелось волшебное очарование жизни природы. В латинской школе Нюртингена его товарищем, проходившим научную подготовку, был интеллектуально рано сложившийся Шеллинг, с которым он уже тогда разделял увлечение классической древностью. По желанию матери, которому он сначала как будто беспрекословно подчинился, он должен был стать теологом, а это, согласно тогдашним условиям, требовало предварительного обучения в семинарии, которую он и посещал сперва в Денкендорфе,

лежащем на расстоянии часа ходьбы от Нюртингена, а затем в Маульбронне. Здесь были завязаны узы юношеской дружбы, здесь было пережито первое невинное любовное приключение, и здесь же, как это обыкновенно бывает при таких условиях, впервые забил родник поэзии. Духовная жизнь человека подчинена, по-видимому, закону, сходному с законом органического развития, и закон этот требует, чтобы человек прошел в малом масштабе стадии прошлых поколений: так и поэзия Гёльдерлина вырастает под звездой Клопштока, окруженная сентиментальным туманом фантазии Оссиана.

Это развитие принимает во всех отношениях более широкие размеры в Тюбингенском университете, который даровитый и обаятельный юноша посещал с осени 1788 г. Он вступил здесь в так называемый институт, в то замечательное образовательное учреждение, из которого вплоть до новейшего времени выходило множество выдающихся людей. Правда, это учреждение налагало на своих воспитанников много лишений, подчиняя их жизнь и труд, в противоположность обычной свободе академической жизни, строгому порядку, и мы знаем, что Гёльдерлин по временам довольно сильно тяготился подобной монастырской дисциплиной; с другой стороны, однако, он воспользовался здесь несравненными преимуществами строго упорядоченного образования. Богословским занятиям здесь предпосылалось систематическое изучение классической филологии и философии, и этому изучению обязан и Гёльдерлин благородными чертами своего духа и своей поэзии. Сначала, по-видимому, он следовал в своей поэзии направлению, вынесенному им из семинарии, и вокруг него собрались одушевленные теми же стремлениями друзья, которые позднее приобрели во всяком случае местную славу в качестве поэтов; среди них — Нейффер и Магенау. Более старый швабский поэт, Штейдлин, принял участие в молодом обществе и издал позднее в форме альманаха некоторые из стихотворений этих поэтов. Клопшток был еще всеобщим героем, именем которого клялись в верности; по образцу Гёттингена и здесь был основан союз поэтов, и была учреждена книга союза, в которую в торжественные дни вписывались песни ее членов; члены союза бродили вместе по горам, посещали друг друга во время каникул, обменивались поэтическими посланиями и жили в волшебном круге клопштоковских идеалов любви, дружбы, свободы и Отечества. Гений немецкой поэзии нашел свой путь из сферы этих туманных чувств к своему величию благодаря тому, что Проникся глубочайшим содержанием античной культуры, этот же путь прошел по-своему и Гёльдерлин. В 1791 г. большинство членов этого союза ушли из университета, но за год до этого в университет поступил Шеллинг и между ним, Гегелем и Гёльдерлином возникла глубокая, духовная близость. В то время немецкое юношество испытывало бурное волнение. Ликующие призывы к свободе, бушевавшие по ту сторону Рейна, нашли здесь живой отклик и духовное просветление. На рыночной площади Тюбингена юноши посадили дерево свободы; Гегель, будущий «философ реставрации», считался ярким якобинцем. Блестящее описание естественного человека, данное Руссо, воспламеняло повсюду юношеское воодушевление, и тюбингенские друзья, подобно Шиллеру, лелеяли идеал нового состояния общества. Однако благодаря классическому образованию это движение с самого начала приняло в Германии более умеренное выражение. В греческом и римском мире усматривалась реализация того состояния общества, к которому нужно было стремиться из тесных и душных условий, господствовавших на родине. И душу Гёльдерлина переполняло воодушевление, он грезил о великих характерах античного мира, восхищение, которое он, как и Шиллер, почерпнул из чтения Плутарха, и основная его настроенность тех лет соответствовала той, которая побудила великого поэта создать «Богов Греции». Это объясняет, почему он в своем творчестве этого времени полностью следовал Шиллеру и даже по своей внешней форме повторял его особенности. В стихах Гёльдерлина обнаруживаются не только те же чувства, но и те же ритмы, и тот же блестящий стиль, как у его великого образца, и такие стихи, как «Греция» или «К природе», вполне могли бы войти в собрание, в котором Шиллер объединил свои стихи «второго периода». Им присущи, хотя и в отраженной форме, та же зажигательная сила, тот же размах, тот же прямолинейный идеализм, поэт еще одушевлен верой в будущность, которая должна

осуществить мечты его юности; в маркизе Поэе он еще видит изображение своих собственных желаний, надежд и планов усовершенствования мира.

Рядом с поэтическим развитием идет философское развитие Гёльдерлина, и именно здесь узы дружбы были крепче всего. Совместное развитие трех товарищей совпало со временем, когда в Германии одинаково ревностно изучали Канта и Спинозу. Первый вызвал уже могучее движение, охватившее всю духовную жизнь Германии; второй был только что вновь открыт Лессингом и Якоби и начал утверждаться в убеждениях молодого поколения; с этого начинается его положительное историческое влияние. Учение о всеединстве и натурализм легко нашли доступ в упоенную природой душу поэта и приняли в ней, как и у Гёте, поэтическую форму, которая была ей по существу чужда. Кант и здесь влиял нравственной строгостью своего понимания жизни. Его безудержное чувство правды, его политическое и религиозное свободомыслие, его величественное понимание истории, как реализация идеи свободы, привлекли и Гёльдерлина в ряды его учеников. Однако и в этой области античное образование было для трех друзей дополняющим и двигающим импульсом. Если впоследствии Шеллинг и Гегель в значительной мере были обязаны своим значением тому, что сумели внести в развитие кантовского учения наиболее серьезные достижения античного мышления, то основанием этому послужило серьезное изучение великих философов древности, которыми они в это время занимались вместе с Гёльдерлином. Само собой разумеется, что поэтически окрашенный интерес юношей заставлял их восхищаться в первую очередь Платоном. У него они нашли то единение истины и нравственности с красотой, которое в слиянии всех их стремлений стало их идеалом и которое они, каждый по-своему, претворили в существенное содержание дела всей своей жизни. С окончанием студенческой жизни в Тюбингене трилистник распался. Шеллинг начал тотчас же пожинать первые лавры на своем философском пути; Гегель, уединившись в Швейцарии в роли домашнего учителя, трудился в тиши над разработкой своих мыслей, и общение поддерживалось лишь письменно. Гёльдерлин также отказался от богословской карьеры и вынужден был прибегнуть к профессии гувернера, которая служила промежуточным этапом для столь многих выдающихся мыслителей и поэтов Германии. Для него эта профессия осталась единственным, чего он достиг во внешней жизни. Сначала, правда, все складывалось как будто наилучшим образом. Рекомендованный Шиллером госпоже фон Кальб, он чрезвычайно счастливо устроился в ее доме в Вальдерсгаузене, и когда он вместе с этой семьей переселился в конце 1794 г. в Веймар, то, казалось, ему открылась счастливейшая и богатейшая сфера жизни. Гёте, Гердер и Фихте установили с ним личные отношения, а Шиллер самым сердечным и предупредительным образом заботился о своем «милом Швабе». Но уже тут обнаружилась та черта меланхолии и неудовлетворенности, которая была глубоко заложена в натуре Гёльдерлина. Из этого средоточия немецкого культурного движения, из этого благороднейшего круга, цену которого он знал и чувствовал лучше всякого другого, он стремился к одиночеству и к идиллической тишине своей швабской родины. Без каких-либо внешних поводов, которые могли бы его побудить к тому, он через несколько месяцев отказывается от места, чтобы вернуться к своим родным.

Когда он затем обратился к новой деятельности, он уже шел навстречу темному року своей жизни. В январе 1796 г. он занял место домашнего учителя в семействе Гонтар во Франкфурте-на-Майне, где он провел последующие годы лишь с небольшим перерывом в августе 1796 г., когда во время волнений войны сопровождал своих воспитанников и их мать в поездке в Дрибург. С начала следующего года он вновь соединился с Гегелем, который занимал во Франкфурте сходное место, и обмен мыслями с сильно развившимся и обретшим внутреннюю ясность другом юности принес Гёльдерлину возбуждение духовной жизни. Однако это наслаждение было отравлено его личной судьбой. В матери своих воспитанников он нашел идеал своих стремлений, и весь его элегический идеализм воплотился для него в прекрасной, благородной и даровитой женщине, которую он называл «гречанкой» и воспевал под именем Диотимы в своих творениях. Но как ни воодушевляла его эта пламенная любовь, как ни возбуждала она все элементы его

мышления и поэтического творчества, недостижимость идеала угнетала его, и тем сильнее укрепилось в нем элегическое настроение разочарования в действительности и бегства в мир призраков. Его вера в осуществление идеала уступила место безнадежному сетованию о невозвратимой его утрате, и безволие, обнаруженное им уже раньше по отношению к внешним условиям жизни, угрожающе охватило все его существо. Лишь творческая его сила закалилась в несчастьи и достигла теперь наиболее зрелой и прекрасной формы. К этим годам относятся благороднейшие и трогательнейшие поэтические произведения Гёльдерлина, и именно в это время вполне проявилась его оригинальность и обнаружилось то самостоятельное, исключительное значение, которое присуще его поэзии. Из всего его существа вытекало, что только лирика могла быть почвой, на которой он способен создать что-либо великое и выдающееся. Но для такой простой песни, как та, в которую изливалось чувство Гёте, в нем было слишком мало жизни. Все его дарование роднило его с богатой мыслями лирикой, которая нашла себе адекватное выражение в античных одах и дифирамбах Пиндара. Элегический элемент настолько преобладает в нем, что вытесняет все остальные, и его художественная форма — могучий, полный мыслей яркий язык, которым, быть может, никто из немецких поэтов, за исключением Шиллера, не владел так свободно, как он. Богатство пластических образов, изумительная смелость развития мысли и вместе с тем твердость и законченность построения делают эти стихотворения Гёльдерлина одним из драгоценнейших сокровищ нашей литературы. Даже самые короткие из них обнаруживают такую силу пластической формы и такое мастерство сжатого выражения мыслей, которые не были превзойдены и в новейшей литературе. При этом в отношении языка и ритма они обладают, можно сказать, идеальной законченностью формы. Они построены почти всегда в античном размере; но классическая форма здесь не искусственно скроена и внешним образом пристегнута, как у большинства современных поэтов: она — естественное одеяние поэтического произведения, которое по всему своему содержанию, языку и настроению полно античного духа. Элегическое настроение поэта не сводится здесь, как это часто встречается в современной литературе, к непосредственному описанию его чувств, а скорее образует колорит, в который окрашены творения его фантазии. В этом заключается действительное родство Гёльдерлина с античным искусством, и таким образом его поэтические произведения по своей форме и содержанию служат лучшим свидетельством того, что античное образование есть интегральная составная часть нашего и, надо надеяться, всегда таковой останется. Классический элемент не воспринят им внешним образом, а настолько глубоко переработан, что его поэзия совершенно отождествляется с ним. Это значение ему гарантировано в истории нашей литературы; и то обстоятельство, что он, как я указал выше, почти забыт в настоящее время, служит печальным симптомом того, что нашей духовной жизни грозит опасность быть удаленной от источников, из которых она черпает свое глубочайшее внутреннее содержание. Но для Гёльдерлина это направление было опасно в том отношении, что все его мышление, творчество и существо слились с этим античным элементом, и лично он мог поэтому чувствовать лишь глубокое противоречие, в котором беспокойная и раздробленная жизнь современности стояла к его идеалу классического образования. В художественно законченных одах это противоречие только иногда проносится как тень, омрачая картину красоты; в жизни Гёльдерлина оно стало мраком, объявшим его сознание, и в виде грозовой тучи оно уже выступает в произведении, в котором поэт пытался изложить свои чувства и мысли в форме романа. Эпическая форма была ему столь же недоступна, сколь и драматическая, и поэтому его «Гиперион», этот роман в письмах, которые уже потому не производят непосредственного впечатления, что речь в них идет о давно прошедших событиях, — по форме совершенно неудачное произведение. Но тем большее значение он имеет как характерная исповедь поэта. Первые проблески возрождения в современной Греции послужили ему поводом нарисовать яркими красками идеальную картину Древней Греции и, исходя из нее, подвергнуть безжалостной и несправедливой критике безобразия, разорванность, односторонность и внутреннюю дисгармоничность современной ему, в особенности немецкой, жизни. Человек,

написавший эту книгу, был глубоко чужд своему времени, был неизлечимо болен тоской по прекрасной стране, которую он, как ему казалось, нашел и навек потерял в античной Греции. Неразрешимое противоречие, которым заканчивался «Гиперион», было лишь идеальным выражением трагической судьбы самого поэта, все более приближавшейся к своему завершению. Отношение к семейству Гонтар необходимо должно было завершиться кризисом, и этот кризис разразился в сентябре 1798 г. Бежав из Франкфурта, Гёльдерлин нашел приют сначала у своего друга Синклера в Хомбурге, затем направился по совету Синклера в Раштатт на время конгресса и снова вернулся в Хомбург. Все его планы нового устройства жизни (основание журнала, доцентура в Йене и т. д.) разбились отчасти из-за внешних обстоятельств, отчасти из-за охвативших его вялости и бессилия. Летом 1800 г. он поехал в Нюртинген к своей семье. Позже мы встречаем его в Штутгарте, затем он живет некоторое время в Хауптвиле близ Канстанца, а в конце 1801 г. занимает должность домашнего учителя в Бордо. Это бегство из Германии было началом мрака, окутавшего его жизнь. О его пребывании во Франции нам ничего не известно, но когда летом следующего года он вновь очутился в Германии, катастрофа, которая была неотвратимо предопределена его натурой, разразилась. Поэт Маттисон, который знал его прежде, с ужасом рассказывал впоследствии, как однажды в его комнату вошел прежний Аполлон в жалком и растерзанном виде и со всеми признаками безумия с ужасающей холодностью произнес только одно слово «Гёльдерлин», а затем, как призрак, исчез. Вскоре после этого он появился у своих родных в состоянии безнадежного помешательства. Выяснилось, что в июне он неожиданно покинул Бордо, знойным летом прибыл в Париж и оттуда отправился бродить по Франции. Быть может, известие о болезни Диотимы дошло до него еще в Бордо, а известие о ее смерти — в Париже; отныне жизнь его была надломлена навсегда. Казалось, он начал поправляться благодаря уходу матери. Свет его жизни вспыхнул еще раз, чтобы затем померкнуть навсегда. Он начал снова писать стихи, занимался переводом и комментированием Софокла, изучал Пиндара. При этих условиях нетрудное занятие, по-видимому, могло бы быть полезнее всего. Друг его Синклер снова сумел помочь ему. Благодаря его посредничеству ландграф Гессен-Хомбургский предложил как будто выздоравливавшему Гёльдерлину место библиотекаря, и с этой целью тот переселился летом 1804 г. в Хомбург. Но вскоре его состояние заметно начало ухудшаться, и осенью 1806 г. его пришлось поместить в Тюбингенскую клинику. Его состояние оказалось не опасным, но безнадежным, и в следующем году его устроили в семье одного столяра. Пользуясь дружеским уходом его, а позднее — его вдовы, Гёльдерлин спокойно проводил здесь свою бесцельную жизнь. Мрак, овладевший его душой, уже не прояснялся и окружал его еще 36 лет. О причинах и характере этого помешательства мы имеем лишь скудные сведения. Лица, наблюдавшие за болезнью и описавшие ее, не были специалистами и не могли определить ее существенные симптомы. Поэтому у нас нет никаких данных для определения физических причин его помешательства. Жалобы на частые головные боли, рано его мучавшие, свидетельствуют об известной слабости его нервной системы, но это не объясняет, что именно столь радикально нарушило ее равновесие. Ряд неблагородных предположений, которые могли быть высказаны вследствие полного отсутствия данных о его пребывании в Бордо, не только не подтверждают его обычным образом жизни, но решительно опровергаются им; они противоречат также тому, что за все время его меланхолии и безумия не известны какие-либо помысли о самоубийстве или о покушении на него; зато достоверно известно, что даже в самые мрачные периоды он сохранял тонкое чувство приличия и благопристойности. Болезнь не изнуряла его физически. Преодолев состояние одичания, в котором он вернулся из Франции, он до самой смерти чувствовал себя хорошо благодаря простому образу жизни и заботливому уходу. Лишь иногда, когда его сотрясали демонические силы, он в течение следующего дня ощущал утомление. Такие приступы бешенства, сначала довольно частые, повторялись со временем все реже и сводились к незначительным нарушениям домашнего обихода. Наиболее подробно изображение его душевного состояния дал нам поэт Фридрих Вайблингер, который в начале 20-х годов посещал

Тюбингенский университет и часто встречался с Гёльдерлином; это изображение дополняется сообщениями его биографа Шваба, который также знал его лично. Характернейшим признаком болезненного состояния была полнейшая неспособность поэта владеть своими мыслями. Он был весь охвачен неутомимой деятельностью фантазии; в первые годы он исписывал каждый попадавшийся ему в руки клочок бумаги прозаическими или поэтическими набросками. Прогуливаясь по узкому дворику или в своей комнате, он без умолку говорил с самим собой; всякий приходивший к нему уже из-за двери слышал оживленный разговор. Но подобно тому как его взор, несмотря на всю его живость, производил впечатление безумия благодаря отсутствию надлежащей сосредоточенности, так и движение его мысли лишено было средоточия и изъято из власти разумной воли. Это вполне соответствует тому, что теперь зовется бегством мыслей. Нервное возбуждение, очевидно, следуя чисто механическим законам, перескакивает от одной мысли к другой, и представление бессмысленно следует за представлением, подобно бушующему водопаду. В этом отношении дошедшие до нас стихотворения, написанные Гёльдерлином во время болезни, представляют для психолога большой интерес. Я с трудом удерживаюсь от соблазна проанализировать здесь какое-либо из них. Они служат поразительным доказательством высокого уровня навыка, которого может достигнуть орган человеческого мышления; деятельность его совершается механически и тогда, когда прекращается единое руководство разума. Когда Гёльдерлин не мог более сочинять стихов, они сами продолжали сочиняться в нем. Шиллер когда-то сказал о средних поэтах, что сложившийся язык творит и мыслит за них. Похожее происходит в это время с Гёльдерлином. Техническая сторона поэзии, ритм и рифма большей частью безупречны по своей чистоте и красоте; вначале еще встречаются античные строфы, позже поэт возвращается к рифмованным стихам своей юности. Блеск слога также местами сохранился удивительно прекрасным. Но наряду с этим встречается вдруг трезвое прозаическое выражение, а иногда и несказанная тривиальность содержания; наконец, часто мысли вообще, расплываясь, теряют смысл и остается лишь звучащее сочетание слов. Но прежде всего во всех этих стихах отсутствует связь и единство композиции. Вначале ясно и еще с прежней пластичностью выступает господствующая мысль или доминирующий образ; но затем — по отдаленной ассоциации, а часто как будто и без нее, фантазией овладевают чуждые образы, иногда самые поразительные далекие представления, а под конец поэт теряется в безысходном мраке. Если когда-либо будет написана психология поэзии, то эти реликвии Гёльдерлина будут играть в ней важную роль. С давних пор говорят о родственности поэтического творчества и безумия, гениальности и помешательства. В чем это сходство? Очевидно, только в том, что течение мыслей, ассоциация идей, как говорят психологи, в обоих случаях происходит совершенно отличным от привычек обыденной жизни образом и что непривычный полет мыслей возникает не из сознательного размышления, а из бессознательной необходимости. Однако различие в том, что у гения это бессознательное принуждение коренится во внутренней связи мыслей, у безумного же — лишь в механической последовательности нервных возбуждений. Поэтому то, что поэт схватывает гениальной интуицией, может быть потом доступно обычному рассудку и его логике, речь же безумного всегда бессмысленна и остается таковой. Гениальное сочетание образов и идей — основная черта тех дифирамбических од, в которой заключается своеобразие поэзии Гёльдерлина. Ода Пиндара, стихотворение Гёте, как, например «Путешествие по Гарцу», также, как обычно говорят, «трудны», т. е. обычному сознанию трудно следить за содержащимися в них мыслями. Но эта связь в них есть, она образует тайный внутренний объединяющий элемент построения, и ее конгениальное восприятие позволяет ощутить эстетическую прелесть творения. Так обстоит дело и с поздними произведениями Гёльдерлина; но в этих поздних его творениях мы испытываем грустное чувство, видя, как гениальность постепенно тонет в безумии. Вначале в них еще присутствует связующая нить; но она становится все слабее и в конце концов ускользает из слабых рук поэта. В начале еще говорит гений, в конце властвует демон. В этом отношении очень характерно написанное в 1803 г. стихотворение «Патмос»; к сожалению,

оно настолько длинно, что привести его здесь невозможно. Душу поэта часто сравнивают с арфой: некоторые струны не настроены, другие порваны, иные еще звучат в сладостной гармонии; но играет на них уже не мысль человека, а ветер, никто не знает, откуда он пришел и куда он направляется. Сходное впечатление производят прозаические наброски, относящиеся к первым годам болезни. Тогда, когда Гёльдерлин как будто еще пытался сосредоточиться, он писал примечания к некоторым произведениям Софокла и старался вникнуть в основную мысль своей трагедии «Эмпедокл», о которой речь еще пойдет в дальнейшем. Писал он то и другое тяжелым, борющимся с собой языком; в его изложении тонкие, почти незаметные нюансы, возникающие из глубины гениальной мысли, переходят затем в безнадежную бессмыслицу. К этому присоединяется еще одно. Здесь чаще, чем в некоторых стихотворениях, создается впечатление, будто поэт не может найти нужного слова для мысли, которую он хочет выразить, и в конце концов прибегает к слову, не соответствующему этой мысли. Такое явление, как известно, часто встречается при нервных заболеваниях; у Гёльдерлина оно не приняло характера ярко выраженной дисфазии, даже позднее, когда он часто занимался образованием совершенно лишённых смысла слов. Однако в его творениях уже встречаются странные обороты речи и слова; эти поиски удивительным образом идут в направлении, сходном с тем. В виде примера его биограф передает, что однажды, когда ему предложили читать по-гречески, он ответил: «Я не понимаю этого, это каламаттский язык». Пример этот неудачен; по-видимому, биограф упустил из виду, что Каламатта — город на южном берегу Пеллопоинеса, и это имя могло прийти в голову поэту при предложении читать по-гречески благодаря простой ассоциации идей, тем более что город этот в 20-х годах неоднократно упоминался в качестве резиденции «мессинского сената» и по поводу его разрушения в 1825 г.; о нем несомненно заходила речь и между посетителями Гёльдерлина, которым шел Гегель при создании своего философского языка. Гегель также вызывал общее удивление непривычными словами и фразами; в его работах есть страницы, читая которые, тот, кто не знаком с его манерой выражения, подумает, и не может не подумать, что это не глубокомыслие, а безумие; но у Гегеля за этим всегда скрывается смысл, его терминология, какой бы она ни была странной, основана на грандиозной системе мыслей; у Гёльдерлина же за этими непонятными словами находится либо пустота, либо неуловимое, все время ускользающее нечто. Постепенно иссякает и его духовная активность, и он все больше превращается в ребенка; мир его представлений ограничивается узким кругом непосредственных потребностей и переживаний. К счастью, светлые минуты, когда он понимал, что с ним происходит, были редки, но и тогда его чувство обнаруживалось лишь в тихой скорбной покорности, подобной той, которая выражена в следующих словах:

Das Angenehme dieser Welt hab' ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,
April und Mai und Julius sind ferne,
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!*

Сообщают о его странных и нелепых привычках, но ни одна из них не может быть определена как навязчивая идея. Даже о его желании награждать людей, к которым он обращался, титулами, такими, как ваше величество, ваше сиятельство и т. п., нельзя сказать, будто оно настолько владело его духом, чтобы это можно было назвать навязчивой идеей в том смысле, как понимают такое определение психиатры. Он совсем не думал, что общается с людьми высокого звания и очень хорошо представлял себе реальное положение в обществе своих посетителей, ему просто нравилась такая преувеличенная вежливость.

Вначале он даже сохранял в своем одиночестве прежние чувства и однажды даже написал прекрасные слова: только теперь он действительно понял людей, когда он далек от них и живет

* «Приятным в этом мире я наслаждался. Часы юности протекли давно, давно. Апрель и май и июнь ушли далеко: Я уже ничто, мне уже не хочется жить».

в одиночестве. Он еще сочинял оды, обращенные к Диотиме, проявлял прежнее чувство, взирая на прекрасную в своей простоте природу, с участием вспоминал о своих родных. Сохранилось трогательное письмо к его любимому сводному брату, написанное в том насильственно рассудительном и деланно трезвом стиле, который часто наблюдается у нервных больных; они как бы собираются с силами, чтобы написать разумно. Письмо прерывается словами: «Я чувствую, что надо кончать». Впоследствии исчезает и это участие; он становится все апатичнее. Посещение друга молодости, известие о смерти матери прошли для него бесследно; даже к изданию собрания его сочинений, о котором ему рассказали, он отнесся равнодушно, и только, увидев экземпляр книги, проявил нечто, похожее на радость. Его существование становилось все более призрачным, он уже просто прозябал. Однако настоящий паралич, полное уничтожение духовных сил, по-видимому, не наступил. Его быстрая и безболезненная кончина была вызвана местным заболеванием, грудной водянкой. Он умер с молитвой 7 июня 1843 г. Вскрытие показало, по словам его биографа, также и водянку мозга, но невозможно было установить, была ли она связана с более ранними воспалениями и что ей еще оставалось разрушить. Таким образом, в этиологии этого заболевания мы можем исходить только из психических моментов, которые мы находим в его жизни. В первую очередь, конечно, приходит в голову мысль о его несчастной любви, которая потрясла все его существо. Несомненно, эта страсть проникла до глубины его души и послужила последним, самым сильным толчком к болезни. Но этот толчок оказал разрушительное действие лишь потому, что пал на уже расшатанное здание. Не при всех обстоятельствах, а лишь при том внутреннем состоянии, в котором уже находился Гёльдерлин, несчастная любовь может оказать такое действие: безумие должно уже находиться в глубине организма, и новое потрясение приводит лишь к его обнаружению. И действительно, дух Гёльдерлина был уже сам тяжело болен, требовался лишь такой повод, чтобы привести его к гибели. К нему можно применить слова, сказанные величайшим поэтом о другом погруженном в мрак безумия поэте:

Es liegt um uns herum
Gar mancher Abgrund, den das Schicksal grub;
Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste,
Und reizend ist es sich hinab zu stürzen.*

Уже во время пребывания в доме госпожи фон Кальб, где он находится в самых благоприятных условиях, будучи любезно принят и общаясь с лучшими людьми, уже тогда он впал в меланхолию. Он сравнивает себя с величайшими людьми своего времени, и это не возвышает, а подавляет его. Не тщеславие или неудовлетворенная жажда славы лежат в основе его чувства, а понимание недостатков своей натуры, убеждение в несоответствии его своему идеалу. Он полагает, что не выполняет свое предназначение, не соответствует поставленной жизнью задаче, и потому, что он не может удовлетворить окружающую его среду, то и жизнь не воздает ему должного. Он относится к типу «загадочных натур», описанных Гёте. Это состояние Гёльдерлина Шиллер уже тогда считал опасным. Своим острым взором он усмотрел сходство между Гёльдерлином и Жан-Полем. Действительно, автор «Титана» погиб бы, как погиб автор «Гипериона», если бы боги не даровали ему юмор. Гёльдерлин не имел ни капли этого юмора, этой способности подниматься над действительностью: в нем текла тяжелая кровь, его страдание вторгалось в глубину его организма и в конце концов разрушило мозг. Основной тон бесконечно тонких струн его души был элегический. Будучи неспособен преодолеть страдание или созерцать его в чистом образе, он неизбежно все глубже уходил в него. Таково проклятье лирика, которое нигде так ярко не проявилось, как в Гёльдерлине. Элегический поэт нуждается в идеале, которым он соизмеряет действительность и ради которого он от нее бежит, даже если он должен сначала

* «Вокруг нас немало пропастей, вырытых судьбой; но бездна в нашем сердце глубже всех, и упоительно броситься в нее». Goethe. «Torquato Tasso».

создать себе такой идеал. Для Гёльдерлина этим идеалом был античный мир. Его интерес к нему уже рано обрел несколько патологический характер. Шиллер говорил о грекомании как о своего рода болезни. Но говорил он так после того, как сам излечился благодаря Канту и Гёте. Для Гёльдерлина же эта болезнь стала смертельной. Если раньше он, повторяя слова маркиза Позы, говорил, что его любовь отдана грядущим поколениям, то теперь предметом этой любви и тоски были ушедшее поколение. И состояние, которое, как «золотой век», навсегда потеряно и лежит далеко от нас. Даже если подобные мысли возникали и у него, ему не хватало той энергии, которой обладали Шиллер и Гегель и которая позволяла им надеяться на то, что «золотой век» в своем более высоком образе наступит в будущем, и они способствуют его приближению. Гёльдерлин лишь предавался грезам, горя о прошлом. Классический мир был бездной, в которую он бросился. Выше мы познакомились с ним как с идеальным представителем этого настроения в нашей национальной культуре. Теперь мы видим, что именно это и погубило его. Величие немецкого духа, выраженное в поэзии и философии, зиждется на слиянии античной и современной культур. Свое полное и чистое выражение это нашло только у Гёте и Гегеля; у всех других то и другое выступает в формах многообразного смешения: у Гёльдерлина оба элемента противостоят друг другу и их противостояние разрушает его дух. Это элегическое погружение в античность лишило Гёльдерлина силы отвечать требованиям современной ему жизни и превратило его существование в мученье. Но само оно — лишь выражение и в известной степени теоретическая форма той общей тенденции, которая составила глубокую основу его страданий. Понять это можно только уяснив, в чем состояла для Гёльдерлина противоположность между античной и современной жизнью и почему он бежал от современности в античность. Все дело в совершенно различном отношении между индивидом и общим содержанием культуры. Античный мир был еще настолько прост, что индивид мог охватить своим интересом все содержание культурной жизни. Наука и искусство, государство и религия находились еще в такой близкой и тесной связи, что в целом составляли некое гармоническое единство, а объем того, что в него входило, был столь невелик, что индивид мог, полностью отдаваясь своей профессии, наслаждаться общей культурой. Каждый человек во всем своем своеобразии настолько срастался с существенным содержанием общей жизни, что мог считаться ее представителем. Совершенно иначе обстоит дело в современном мире. Все виды профессиональной деятельности обрели в нем такой объем и такие разветвления, что индивид не может больше охватить всю их совокупность, и при этом, что еще важнее, они настолько разошлись в своем развитии, что гармоническая связь и прекрасное единство, которыми они обладали в античности, безвозвратно утрачены. Поэтому мы потеряли счастливое тождество индивидуальной и общей образованности, и индивид более не способен внутренне охватить всю культуру своего времени и выступать как ее представитель. Эту противоположность, имеющую если не абсолютное, то во всяком случае относительное значение, Гёльдерлин ощущал, быть может, глубже, чем кто-либо. Она была внутренне связана с теми культурно-философскими идеями, из которых Шиллер конструировал свои основные эстетические понятия, хотя у него эта противоположность шла в другом направлении. Одновременно она была теснейшим образом связана со всем характером тогдашней немецкой образованности, главной чертой которой была тенденция универсальности. Основными представителями этого направления были, как известно, романтики. Они не только поставили перед собой задачу охватить в области своей литературной деятельности, в частности, в поэзии, истории литературы и философии, все великие творения человеческого духа, созданные в его развитии, но и выдвинули принцип, согласно которому эстетическая, научная, религиозная и государственная жизнь человека опять должна гармонически слиться в великом единстве, чтобы индивид мог выполнить свою задачу на основе универсальной образованности и в полном единении со всей культурой в ее целостности. Именно эта тенденция определяла всю сущность Гёльдерлина, и Гейм поэтому с полным основанием рассматривает его в своем мастерском изложении романтической школы отчасти как представителя, хотя одинокий шваб не находился

с ней в каких-либо прямых и личных отношениях. Но если романтики хоть пытались реализовать этот идеал универсальной культуры индивида, то Гёльдерлин отчаялся в возможности его осуществить. Только в античном мире видел он его реализацию, только грек был для него в этом смысле совершенным и цельным человеком. В современной жизни есть государственные деятели и крестьяне, поэты, купцы, ремесленники, чиновники, короче говоря, люди определенных профессий, но тщетно искать в ней человека. Поэтому универсальная тенденция принимает у Гёльдерлина патологический характер и элегическую окраску. Ее идеал не может быть реализован в современной жизни, но в «золотом веке» эллинской культуры он был жизненным принципом. На этом зиждется вся горечь, которую Гёльдерлин излил в «Гиперионе» на современный мир, в частности на свою нацию, и вся страстная, исполненная тоски любовь, с которой он относится к античности. Поэтому наибольший интерес из его высказывания о себе представляет собой фрагмент трагедии, в который он хотел переместить мучавшее его противоречие на почву Греции. Трагический мотив «Эмпедокла» несколько сходен с мотивом Фауста. Он состоит в том, что индивид погибает, стремясь объять целое что он преисполнен желанием охватить все существующее, прежде всего отождествить себя с человеческой жизнью в ее целостности, и что с пониманием невыполнимости этого стремления приходит его конец. Из оставшихся частей и набросков общего плана произведения, сохранившихся в наследии Гёльдерлина, можно в общих чертах представить себе, как он хотел изобразить гибель своего героя, соединившего в себе в нераздельном единстве философа, поэта и государственного деятеля, в его столкновении с противоречиями реального мира и лишенной гармонии разделенностью и расщепленностью внешних отношений. Следовательно, невозможность для современного индивида свести в своем образовании в живое единство все содержание всеобщей культуры — конечная причина элегического погружения Гёльдерлина в классическую древность, которым отмечена его трагическая судьба. И в этом действительно глубокое понимание сущности современной жизни. Эта невозможность — несомненный факт. Наша культура стала настолько разветвленной, настолько многообразной, настолько противоречивой, что индивид уже не может полностью охватить ее. Наша культура в целом — идеальное понятие, не реализованное ни в одном индивидуальном сознании. Каждый из нас занимает в огромном механизме социальной жизни определенное место и, находясь там, не может обозреть и воспринять всю совокупность остальных видов деятельности и их духовное содержание. Занятый работой в рамках своей профессии и испытывая постоянное напряжение из-за растущих требований, индивидуальный дух обретает своего рода шоры, которые допускают лишь ограниченное поле зрения. Универсальная образованность, которой обладал гражданин Афин и которая вновь была достигнута великими деятелями Возрождения, к которой по крайней мере стремились поэты и мыслители Германии во времена Гёльдерлина, сегодня недоступна даже гению. Культура слишком разрослась, чтобы индивид мог обозреть ее. В этой невозможности заключена большая социальная опасность. Чем отъединеннее становится профессиональная деятельность индивида, тем более она противостоит интересам, которые составляют содержание жизни другого, также одностороннего в своей деятельности индивида. Таким образом, отдельные профессии, сословия, различные слои общества становятся все более чуждыми друг другу и вскоре вообще перестанут понимать друг друга. Сознание единой связи, которая должна господствовать во всей культурной жизни, постепенно утрачивается, и обществу грозит опасность распаться на группы и атомы, связанные уже не духовным пониманием, а только внешней нуждой и необходимостью. Так, современное общество все больше являет собой образ разорванности, и чем быстрее будет с естественной необходимостью идти этот процесс, тем больше будет ослабевать общественный порядок, самой прочной основой которого служит тождество культурного сознания индивидов. Но хуже этого отсутствия истинно универсальной образованности — ее суррогат, которым мы пытаемся обмануть себя. Будучи неспособен проникнуть в глубину, особенность и содержание образованности других сфер, современный человек удовлетворяется поверхностным дилетантизмом, снимая со всего пену и не касаясь

содержания. Этот дилетантизм смешон, когда он проявляется в салонных беседах, но когда он проповедуется на улицах, он трагичен. Мы смеемся над самоуверенными суждениями юнца о преимуществах Ницше и Вагнера; но страшен серьезный народный оратор, который щеголяет плохо переваренными отрывками научных теорий и предлагает народу в качестве истины то, что не понял сам. Видя, как этот дилетантизм растет от десятилетия к десятилетию, превращаясь в опасную угрозу, не надо удивляться, если в Германии, как и во всем мире, он окажется типичным для общественной жизни. Я говорю не о времени, которое мы теряем, когда, развлекаясь, делаем вид, что ищем поучения или эстетического назидания; и не о том, что серьезное и истинное эстетическое образование становится тем более редким, чем больше усилий тратится на то, чтобы сделать наслаждение искусством, доступным каждому; подтверждается известное правило — повышение общего уровня всегда происходит за счет величия тех, кто над ним возвышается. Опасность, о которой я говорю, заключается в том, что и у нас этот дилетантизм начинает накладывать свой отпечаток на общественные институты. Политическое движение всей Европы движется в направлении к парламентаризму; как бы ни рассматривать его историческое и политическое значение, одно необходимо признать — это государственная форма дилетантизма. Это та форма государственного управления, при которой каждый софист и крикун с мандатом в кармане не считает себя призванным, поскольку Бог вместе с должностью дает ведь и разум, высказывать *ex officio** свое безответственное суждение обо всем, касающемся интересов государственной жизни, и считает, что не только имеет право, но и обязан критиковать деятельность опытного специалиста, добросовестного чиновника, гениального государственного деятеля. И этот дилетантизм неминуемо подхватывается вне парламента именно теми, кто хочет быть специфически современными людьми и верит, что являются таковыми. Но самое худшее в этом распространении дилетантизма — его господство в области воспитания. Громадный рост знаний настиг нас как бы внезапно. Мы еще не нашли метод для их упрощения и сведения к небольшому общему выражению; в счастливом будущем, может быть, сделает оно ненужным множество деталей, которые сегодня не связаны друг с другом и которые поэтому приходится механически запоминать; разветвленная деятельность в области отдельных наук еще не дала общей образованности от плевел. При растущих требованиях, предъявляемых борьбой за существование профессиональному образованию и техническому обучению, у нас еще полностью отсутствует принципиальное решение фундаментального для каждой педагогики вопроса, какое количество общего образования и профессионального обучения может быть соединено, чтобы обрести равную духовную основу для всех сословий и всех индивидов. От реализации этого идеала человечество сегодня дальше, чем когда-либо в своей истории, и в этом корень всех зол современного общества. Эта проблема ведет к тому, что вследствие вполне обоснованного опасения дилетантизма бросаются к техническому овладению определенной профессией; эта односторонность начинает проявляться уже в разделении труда между науками во всех областях. С юности духовное развитие насильственно направляют в определенную сторону: перед человеком стоит только практическая цель, и он никогда не видит целого. Между тем, из длительного опыта известно, что плодотворной может быть только та деятельность, которая позволяет видеть отдельную профессию в ее связи с целым. Если в одном случае опасность заключается в том, что дух может превратиться в машину, способную выполнять только определенную техническую работу, то в другом случае, желая включить в школьное обучение все еще непроверенные «выводы» современной науки, открывают путь к дилетантизму. Привлекаются все дисциплины; чтобы дать пищу молодому уму, от каждой берется кое-что посредством внешнего усвоения, и этим разрушается гармония и систематическая связь на ранней стадии образования. Несоввершенство школьного образования признают все, но до сих пор нет ничего, чем его можно было бы заменить. Всю массу знаний учат наизусть, не постигая ее, ею овладевает память, а не рассудок. Мы опрометчиво перегружаем наших детей, не предоставляя им возможности постепенно

* По обязанности (лат.).

усвоить пугающее многообразие, которое мы заставляем их воспринять. Самое опасное, если нагромождению только запоминаемого материала сопутствует ограничение той формальной деятельности ума, которой мы до сих пор, на наше счастье, были обязаны занятиям языками и мышлением греков и римлян. Представители естествознания, которые борются с этим остатком основы равномерного обучения в европейском обществе, должны были бы первыми признать и в педагогике «основной биогенетический закон» и понять, что для духовного развития человечества наиболее естественно постепенно проходить прежние стадии образования; им следовало бы понять, что для молодого ума всегда самое подходящее знакомиться с молодой, простой, гармонической системой культуры, такой, как греческая. Я отнюдь не собираюсь увеличивать и так уже чрезмерное количество тех, кто предлагает для изменения сложившегося состояния какое-либо отдельное средство: у нас еще нет панацеи от того. Нам надо свыкнуться с мыслью, что мы живем в век педагогических экспериментов; мы вынуждены жалеть те поколения, на которых производятся эти различные опыты, и можем лишь надеяться, что через споры и неудачи, наконец, хотя и поздно, будет разработана новая система и достигнуто более спокойное развитие процесса обучения. Я указал здесь на опасность, очевидную для каждого, только потому, что судьба Гёльдерлина тесно связана с современной проблемой образования, крушение его великого духа лишь в увеличенной степени и в большем масштабе показывает то, что в меньшем масштабе тысячекратно проявляется в смятении и одичании духа. Действительно, современный индивид — по своей природе отрешающийся. Все мы — «отрешающиеся» из «Годов странствий». Речь здесь идет не об отрешении от личных желаний, что всегда было долгом нравственного человека, а о сознательном отрешении от всеобъемлющего усвоения всего содержания культуры. У нас больше нет и никогда не будет такой философии, которая объединяла бы все науки в единой картине мира. Но из-за этого жизнь индивида не должна перестать корениться в целом и ощущать себя единой с сущностью рода. По мере того как стремление вширь становится невозможным, все более необходимо проникать вглубь. Даже если каждый погружается со всем своим знанием и умением в особенности своей профессии, при этом не следует терять понимание высших ценностей человеческой жизни, с которыми связана в определенных точках и наша маленькая жизнь; от философии же мы не можем требовать, чтобы она довела до нашего сознания эту связь определений высших ценностей и подняла нас из нашего обособленного существования к вершине гуманности. У нас всегда остается возможность хранить в нашем сознании чистое содержание всей культурной жизни человечества, идеалы нашей истории и подчинять им нашу жизнь. В нашем познании и знании мы больше не можем быть цельными людьми, но в нашей действенной вере в идеалы мы всегда должны оставаться ими.